

Кутыбтурч. —
1998. — 8-14
окт. — с. 13

Который год я царствую спокойно...

Идеальный театр для Маторина — Большой

День рождения у Владимира МАТОРИНА 2 мая. Два дня в дом или гости числом более сотни, что не удивительно. Виновник — известный хлебосол и балагур. Четвертого октября торжества продолжились под Аполлоновой квадригой — Большой чествовал колоритнейшего на сегодняшний день своего баса, которому исполнилось 50. Юбилей. А юбилей, как известно, располагают к комплиментам — они уже сказаны, к интервью — оно впереди. И к тому, чтобы оглянуться на пройденный путь артиста. Вот он: работа телеграфным мастером, учеба в Гнесинском институте, попытки поступить в Кировский и Большой театры. Но взяли его в Музыкальный имени Станиславского и Немировича-Данченко, где интересная работа перемежалась с долгими простоями. Через 17 лет пробил его час: после триумфального выступления в колобовском "Борисе" он был признан столичной критикой лучшим актером сезона и приглашен в Большой, о котором так долго мечтал. В Большом он и поет уже седьмой сезон. Сусанина, Гремину, Бориса, царя Додона, Кончака, Короля Рене, Короля Треф, Досифея...

— Но выходите на сцену вы, Владимир Анатольевич, нечасто — один, два, три раза в месяц. Вам этого не мало?

— Творческому человеку всегда мало. Одним не хватает ума или денег, а у артиста другая проблема: ставят спектакль — там нет для него партии, ставят подходящих по всем статьям — назначают не на ту роль, а если на ту — поешь не первым составом. Самый важный спектакль надо спеть газетчикам на генеральной, но выпускают не тебя, значит, потом делай хоть куда, а только пока нет специализированного оперного журнала или газеты, все будет мимо.

— Что для вас профессия — купание в своей стихии, преодоление себя?

— Нормальный человек публично петь не может. Публично — это уже аномалия. Последние 24 года я борюсь со стыдом, сходящим с тем, когда входишь в комнату, полную людей, с незастегнутыми, извините, брюками. Сентябрь — самый больно́й месяц. Я выхожу на сцену и болею. А в мае мне уже на все наплевать, могу выйти хоть голым. Стыда нет, только усталость.

— Глядя на вас, хочется высказать два равно возможных предположения: вы человек философского спокойствия, и вы человек взрывной. Что правда?

— Раньше был очень эмоциональный и взрывной — настоящий теноровый темперамент. Но басовые партии делают свое дело. Потому что Борис, руководитель государства (тынет, как акафист, — на одной ноте. — Л.Д.), нравится — не нравится — останется в нем, суэта, мелкое — все прочь. Когда играю Бориса — на меня нападает серьезность, когда Ивана Грозного — серьезно еще больше, вот сыграть не дали Мефистофеля, не знаю, какой он. Словом, мои герои заставляют меня жить по-своему — на подготовку-то к каждому спектаклю уходит не меньше недели, а потом, естественно, отходишь от него не один день. Еще ни разу за двадцать лет не смог заснуть после спектакля — какой-нибудь Борис живет в тебе и спать не дает. Галлюцинаций нет, но если все время анализировать (а поскольку я преподаю — приходится), то состояние как после принятия любимого русского напитка. Тело здесь, а душа где-то там, во вчерашнем дне или уже будущий планирует, и все ищет, где недоделано, что недоделано, как мой герой поступил бы в этот момент, как в другой... Маета. Но спросите меня, в чем мое счастье, я отвечу: и в этой маете тоже. Другое дело, что что-то удастся проследить, а что-то нет, потому как то, что идет на зрителя, — иероглиф. Ты посылаешь одно, а что в итоге перелетит через рампу — вопрос. "Передаточная" цепь слишком длинная, и каждое звено в ней значимо, даже пустяшное. Лампочка лопнула — все глаза наверх, у вас сосед каждую минуту чихает — отвлекающий фактор, у меня партнер наелся тонны чеснока — я вообще теряю мелодию.

— Вы в 30 и вы в 50 — разница, которая первой приходит вам на ум?

— Раньше, имея в репертуаре, образно говоря, две вещи, я бесконечно любил выступления, хотелось утвердиться: знаете — вот он я. А сейчас обожаю репетиции. Можно остановиться, покопаться, попробовать сделать иначе, лучше. В спектакле уж все — ноту не перепоешь, в другую сторону не повернешь. Ошибся — я "продолжаю" ошибку, чтобы все думали: так и надо.

— Есть певцы, о которых говорят "россиниевский", "вагнеровский". Для какого репертуара рожден певец Маторин?

— Я вагнеровский певец. Но у России, как известно, еще со сталинских времен с Вагнером были трудные отношения, и ни одного Вагнера мне спеть не довелось. Я

моцартовский певец, но опять — не где петь. А нет прецедента — нет предложения (они там, на Западе, смотрят биографию, у кого что в репертуаре, у меня 62 партии, но все русские). Я вердиевский певец, а в Большом театре, кроме Рамфиса, не в чем показаться, да и у того нет эффектной арии, хотя дуэт с тенором великолепен. Хочу попробовать Феррандо в "Трубадуре", но и эта партия не первого плана. Чуть было не спел в этом году в Праге Филиппа, о котором давно мечтал. Специально выучил. Поехал. Платят там копейки, я это знал, уже был у них с Борисом (наши же, кстати, согласные на любые деньги, и сбили цену, а в пражской Опере каждый второй солист наш). Но поселили — солдат проститутку в такие апартаменты не приведет. При этом, уезжая в Москву, а мой театр три раза вызывал меня, я должен был либо выкладывать за "простой" этих апартаментов круглую сумму, либо забирать чемоданы. В итоге я совершил первый в жизни подвиг. Набрал номер своего московского импресарио и сказал: условия настолько неподходящие, что завтра еду домой. И повесил трубку, пусть сами разбираются, кто прав.

— Куда собираетесь в ближайшее время?

— В декабре — в Лондон на "Золотого петушка", где я во втором составе. Это постановка Ковент-Гарден, но, поскольку театр на ремонте, играть будем в каком-нибудь другом зале.

— Как вы относитесь к авангардным наворотам, которые зарубежные режиссеры нередко "предлагают" русской опере?

— Если потрясать и при этом читается идея, то хорошо. У меня была одна такая постановка в Нанте, "Хованщина", где я пел Досифея. Декорация — разбитый дудаевский дворец. Марфа, как комиссарша, в майке и кожаных галифе. Концовка — мороз по коже. Все окна закопачены. Досифей прощается с каждым из раскольников, закрывает дверь — и пускает газ. И вседохнут, как крысы. Страшное месиво. И тут вбегает Шакловитый: ногой открывает дверь, чувствует газ, надевает противогаз и по трупам из автомата: мол, задание выполнено, это не они себя, это я их.

— А какие спектакли вам нравятся в родном театре?

— Все, в которых я участвую.

— Есть ли у вас рецепт, как жить в Большом?

— Пожалуйста — заниматься творчеством. Я все время учу новые вещи. Не берут в премьеру — готовлю новую концертную программу. Сейчас, например, думаю о пушкинской. Опоздал отметить 200-летие Шуберта — так надо будет сделать студенческий концерт памяти Шуберта (в РАТИ, где Владимир Анатольевич преподает. — Л.Д.). Или думаешь — взять бы да целиком на два отделения спеть наконец Мусоргского. У меня его произведений больше, чем на два отделения, но как ни соединяю их — ерунда получается. "Песни и пляска смерти" идут 25 минут, по содержанию отделение наполняют, а что делать потом? Или "Пророк". Поставить его в начале — не хватит сил концерт допеть, поставить в конце — все, эта нота, другая уже не берутся. Вот сидишь и думаешь (ух, люблю сочинять программы!). Или можно поломать голос на каком-нибудь Шостаковиче. Нравится мне современная музыка, хотя, конечно, она вещь нерентабельная. Выучил раз Чайковского и — навек. А Борис Тимофеевич в "Катерине" — мало того, что горло порвешь (хотя Шостакович по сегоднешним меркам — белькантист), так потом неизвестно, пригодится ли это когда-нибудь еще. Но люблю. Прокофьева пел и в Театре Станиславского, и в Швейцарии в прошлом году, у меня Мендоса очень хороший ("Обручение в монастыре". — Л.Д.). Свиридова, Си-

дельника пел, вот только последних — Шнитке, Губайдулиной — не коснулся... Это к тому, что я за то, чтобы все артисты Большого имели много работы — в любой форме. Когда люди без работы, тогда и начинается: куда это Петр Петрович с Ольгой Сергеевны пошли, а с чего это Иван Иванович мне сегодня криво улыбнулся? Все это и до моих ушей доходит, но тут же улетает. Если, конечно, не угрожает моему творчеству. Нашепчут: "Взяли нового баса, а тебя на пенсию" — вряд ли невозмутимость сохранишь. Правда, я себе пути к отступлению подготовил. Попросят из театра — в приходе петь буду. Записал вот пластинку церковной музыки, благословение Патриарха получил. Или думаю — какая ниша еще не занята? А штоколовская. Русский романс. Такое мне и сегодня снится, но жена (она у меня пианистка) отговаривает: "Выйдешь на пенсию, тогда и будешь романсы петь".

— Предложи вам кто-нибудь поставить спектакль — согласились бы?

— Пожалуй.

— А предположим, такая вот фантазия — что вам предлагают стать управляющим оперной труппой. Ваша реакция?

— Категорически нет.

— Вы не находите в себе административных, дипломатических, руководящих качеств?

— Они есть, но в малых дозах. Скорее, я не нахожу сейчас инструмента управления. Раньше были: московская прописка, московская колбаса, лучший театр мира, поездки за границу и квартира на Неждановой (когда потом селили на Кутузовский, люди обижались). А теперь тем, кто прожил в общности по 12 лет, говорят: прописки не будет. И как управлять? Где они, новые манки? В праве поставить на своей заграничной афише "солист Большого театра"? Так теперь театр сам берет с нас за это проценты. У меня ответственное предположение: я готов заплатить 10, 15, даже 20 процентов, но я хочу, чтобы мне позвонили, сказали, когда, что, какой климат, забрали мои чемоданы, привезли прямо в первый класс самолета и поселили в "Шелтоне" или особняке Чикагского обкома партии. Делайте мне поездку... Н-да! Разговоры выходят. Надо будет приложение к газете делать — "Маторин с нами". Нет, еще раз встретиться бы — вы мне текст принесете, а я все повычеркиваю. Рассказать? Приходит ко мне очаровательная девка, корреспондент. Шутили, шутили, она под шуточку и спрашивает: "Владимир Анатольевич, так какой же вы все-таки?" Как какой, говорю. Обаяшка, бесконечно талантлив, анекдотчик, матерщинник, бабник, душа общества. А она это и напечатает. Э-э, кое-что притаивать нужно. Нравится мне Большой! А знаете почему? Потому что дирекцию люблю. Вы мне: да дирекция-то, говорят... А я вам: ну почему же (с неподражаемой интонацией) Манилова. — Л.Д.), мне нравится. Это у Ивана Семеновича Козловского была такая распева: люблю дирекцию, люблю дирекцию. Я его как-то спросил: "Иван Семенович, говорят, вы так распевались, правда?" Он смеется: "Милый, это, может, и поможет, но, как в том анекдоте, и не повредит". Я на одном из спектаклей выхожу в наши кулуары и в голос: люблю дирекцию. Там аж вздрогнули. Ко мне потом подходит Коконин, который тогда еще был генеральным, сам, между прочим, человек остроумный, анекдотчик. Мне нравится, говорит, ваш сарказм. А я ему: Владимир Михайлович, а чего мне вас не любить, когда вы меня в Большой взяли, это как бы повышение для артиста, звание народного дали, на Госпремию, не присил, выдвинули, в довершение получил высокий пост члена тарификационной комиссии, в честь чего все перестали со мной разговаривать... А если без дураков — есть театр, и театр для меня храм, как бы к нему ни относились другие. Здесь вот ведь какая штука: идет поезд, то, что видит машинист — это одна картина, то, что видит пассажир первого класса, — другая, "зайцам" в тамбуре открывается третья, а вы смотрите со стороны и говорите: да, окраска машины не очень, аэродинамика неважная, и вообще поезд идет не в ту сторону. Я на сегодняшний день пассажир первого класса, где комфортность выше, чем, скажем, в третьем, — и зарплата регулярная, и работа на два года расписана. Другое дело, что мало мне работы. Не будь этого "неудобства", видит Бог, я бы сказал: Большой театр для меня — идеальный театр.

Беседу вел
Лариса ДОЛГАЧЕВА



Фото А. РАТНИКОВА